

**С. М. Соловьёв**

**История России с  
древнейших времен. Том 29**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 93  
ББК 63.3  
С11

**С. М. Соловьёв**  
С11 История России с древнейших времен. Том 29 / С. М. Соловьёв – М.: Книга по Требованию, 2021. – 210 с.

**ISBN 978-5-4241-1625-4**

"История России с древнейших времен", созданная знаменитым историком Сергеем Михайловичем Соловьёвым (1820-1879), не имеет себе равных в отечественной науке. Этот труд стал невиданным событием в российском обществе, явлением истинно мирового масштаба. На создание этого колоссального произведения ученый затратил долгих 30 лет неустанной ежедневной работы. И до сих пор никто не смог затмить славы С. М. Соловьёва, никто не сумел повторить его гражданский подвиг: так тщательно, детально, подробно изучить события отечественной истории, а главное, показать их внутреннюю логику и связь, их причины и следствия, так ясно изложить факты, так подробно исследовать явления российской жизни. И пусть страницы этой книги шаг за шагом ведут читателя по пути, когда-то начертанному для себя ее автором: "Выучиться самому, чтобы дать средство другим знать основательно свою историю"

**ISBN 978-5-4241-1625-4**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2021  
© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2021  
© С. М. Соловьёв, 2021

Сергей Михайлович Соловьев  
«История России с древнейших  
времен»  
Книга XV. 1773—1774



# Двадцать девятый том

## Глава первая

Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны

*Турецкие и польские дела в 1773 и 1774 годах. Отношения к другим европейским державам за то же время*

Мы видели, что в конце 1772 года переговоры на Бухарестском конгрессе остановились благодаря крымским городам, которых требовала Россия. И в начале 1773 года Обрезков доносил, что все затруднение состоит в этих городах, Керчи и Еникале, которых турки уступить никак не хотят, и конгресс разорвался бы, если бы он не обещал переписаться о городах со своим двором. Вслед за тем Обрезков извещал, что желание Порты окончить войну охладевает и это надобно приписать проискам врагов России в Константинополе. Обрезков писал прусскому посланнику Зегелину в Константинополь, чтоб тот уговаривал там согласиться на уступку Керчи и Еникале. Зегелин стал уговаривать рейс-эфенди, но тот отвечал: «Порта сделала все для успешного окончания переговоров: согласилась на уступку Азова и Таганрога, на известные гарантии для грузин, молдаван, казаков, на торговлю русских подданных на Черном море и архипелаге, хотя морские державы единодушно советовали противное; Порта согласилась, что для безопасности от татар Россия может укрепляться как ей угодно. Но от уступки Керчи и Еникале зависит благосостояние Оттоманской империи; если б даже Россия обязалась никогда не строить там военных кораблей, то и это не обеспечивало бы нисколько в будущем, потому что Россия может приготовить все материалы на Дону и при первом разладе с нами перевести их в Керчь и Еникале; в три или четыре месяца русский флот в числе 12 или 15 кораблей появится на Черном море и предпишет законы Константинополю. Наше решение непреложно: если Россия уступит насчет Керчи и Еникале, мир будет заключен; но, если она будет настаивать на своем, мы будем продолжать несчастную войну, хотя бы привелось нам всем погибнуть, ибо если предназначено Турецкой империи погибнуть, то мы не можем этого избежать». Обрезков переписывался также и с австрийским интернунцием в Константинополе Тугутом, ожидая и от него содействия в заключении мира, но Зегелин писал Обрезкову: «Князь Кауниц нажаловался моему государю на меня, что я внушал Порте: если она не заключит скорее мира, то весною австрийцы соединятся с русскими для отнятия у Турции того, что прежде им принадлежало. Из этого я заключаю, что со стороны Австрии нам нечего ожидать для ускорения переговоров, ибо на самом деле внушение, мне приписываемое, было бы самым действительным средством образумить турок; и если бы в Вене и боялись этим слишком ускорить мир и помешать, быть может, тайным замыслам, то я не вижу, зачем так ратовать против подобного внушения, которое ни в чем не вредит венскому двору, будучи сделано не его министром». Но Румянцев не был доволен и прусским министром, он находил в его письмах «и волчий рот, и лисий хвост...». Все окрестности являют, писал Румянцев Обрезкову, что «друзья неприятелей наших и нам прямые враги суть; но наши приятели, напротив того, доброхотство и пособие им и нам размеряют

собственно своею пользою и выгодною. Признали уже они артикулы, главнейшее запинание в совершении настоящей мирной неогонии составляющие, более значащими в мнении, а не существенную опасность содержащими; но не видели мы еще от них добрых услуг или сильных убедительных представлений, которые могли бы склонить тракующих с нами к соглашению на оная».

Между тем 3 января в Петербурге в заседании Совета по поводу донесений Обрезкова императрица написала: «Кораблеплавание на Черном море Россия требует свободное. Все прочие турецкие раздробления излишни, ибо по мелководью большие военные корабли по Черному морю ходить не могут; и российские военные суда, кои строятся на Дону, по мелководью меньше всякого по сию пору на Черном море видимого турецкого купеческого корабля». К этому Екатерина прибавила устно, что после такой славной войны было бы предосудительно для империи и для собственной ее славы сносить предписания турок. На это Совет представлял императрице, что надобно снабдить Обрезкова новыми наставлениями на случай, если бы турки заупрямились и не стали заключать мира без ограничения русского кораблеплавания или без получения ими места в Крыму; что в таком случае лучше согласиться на ограничение кораблеплавания, чем допустить турок опять укорениться в Крыму; что, имея торговые суда, можем их всегда в случае надобности обращать в военные; что и при этих условиях мир наш славен и полезен будет и было бы очень прискорбно, если бы война возобновилась, особенно когда шведские дела находятся в таком натянутом положении. Императрица отвечала на это, что страх пред шведами обличает сомнение в собственных своих силах и что она не согласится переменить своего решения о кораблеплавании, пока Совет не представит ей причин более важных.

От 26 января Обрезков уже писал Панину, что «со склонностью Порты к достижению мира случилась весьма явная перемена, так что не токмо успех вверенной ему неогонии становится сумнительным, но и не без опасности быть скорому конгрессу разорванию». Порта обнаруживала явное намерение не уступать России ни одной гавани на Черном море. Обрезков употреблял последние усилия, чтоб не разорвать конгресса: зная страшную скупость султана, он предложил, что Россия откажется от денежного вознаграждения за военные убытки, если Порта согласится на все другие ее требования. Послала в Константинополь за решением, и на конференции 9 марта был объявлен ответ: за все завоеванные Россией земли и теперь возвращаемые Порта платит 12 миллионов рублей, а за то, что Россия отстанет от требования Керчи и Еникале и согласится на ограничение кораблеплавания на Черном море, заплатит еще 9 миллионов. Обрезков отвечал, что если бы Порта предлагала все сокровища мира, то Россия и за них от своих требований не отстанет. Тогда турецкий уполномоченный Абдул-Резак-эфенди объявил, что больше уже переговаривать не о чем и он уезжает. Обрезков сказал на это, чтобы он прислал записку, сколько ему нужно подвод. Турок смутился и начал говорить: «Если мы переговоры разорвем, то после опять начать их трудно будет, и войне не вечно же быть; лучше бы переговоры не разрывать, а, расставшись, мне быть за Дунаем, а вам в каком-нибудь месте по сию сторону Дуная и продолжать переговоры письменно». Обрезков согласился. Уполномоченные расстались самым дружеским образом и обнялись почти со слезами. «Могу поистине сказать, — писал Обрезков, — что я почти весь век свой с этой нацией изжил, но такого добропорядочного и добродетельного че-

ловека не нашел». Обрезков поселился в местечке Романе. Зегелин писал ему из Константинополя, что против его ожидания разрыв и второго конгресса не произвел в столице сильного впечатления: здесь более согласны на продолжение войны, чем на заключение мира на русских условиях. Рейс-эфенди говорил ему: «Можем ли мы уступить татарскому хану независимость, какой требует Россия? Это противно нашим законам, нашей религии, ибо невозможно, чтобы два мусульманских государя так близко царствовали друг от друга; надобно, чтобы их хан признавал султана своим главою или чтобы султан подчинился хану; равенство здесь невозможно; это наша конституция, которая не может быть изменена, разве при окончательном падении нашей империи. Уступить Керчь и Еникале все равно что войти в зависимость от России, которая в короткое время построит там страшный флот и будет предписывать нам законы».

Еще до разрыва Бухарестского конгресса из Петербурга предписывали Обрезкову грозить, что перемирие возобновлено не будет, и этою угрозою понуждать Порту к миру. Но Румянцев был с этим не согласен и писал Обрезкову: «Объявить сие, и так заблаговременно, было бы власно, что разбудить турков от настоящего усыпления и понудить их повсеместно взять должные на такой случай меры, причем не только не легко уже нам будет ударить на какой-нибудь чувствительный для них пункт, но можем иногда по нынешнему войск ослаблению упреждены быть и от них и потерпеть случающийся урон наипаче в слабых частях. Чем внезапнейшие, тем и полезнейшие быть бы могли наши действия. И для того я мню, что буде настоить сомнение заключить желаемый мир, то лучше усыплять неприятеля в настоящем военном нерадении и тишине, нежели устрашением нудить его устроить свои обороты, ибо всякий, кому бы ни сказать, что готовлюсь тебя бить, натурально примет к отвращению меры взаимства». Румянцев досадовал на графа Алексея Орлова, который был против перемирия, жалуясь на то, что он обезоружен, лишен средств продолжать успешные действия и подвергнут опасности. Румянцев в своих письмах к Обрезкову говорил по поводу этих жалоб: «Что бы он мог такое сделать в продолжение четырех месяцев? Мало ему было трех лет для совершения этих подвигов?»

Румянцев был сильно рассержен тем, что прошлого года армия его была ослаблена взятием нескольких полков в предположении войны шведской. После эти полки велено было возвратить, но Румянцев писал Обрезкову: «Мы, когда возвышаем наши требования, тогда не ищем тех способов, которые в таких случаях сущим суть подкреплением, т.е. чтоб умножать свои силы против неприятеля, но паче их ослабляем в виду, так сказать, врагов, на то взирающих. Оставление взятых полков, которые к первому делу по дальнему переходу и поспеть уже не могут, не надеясь, чтобы в неприятеле ту же имело содейтельность, какову он получил к своему возобновлению от их прежнего движения. Дни долгого перемирия не послужили нам к достаточному себя снабдению к военному делу. Еще не бывали рекруты, многих нужнейших аммуниционных вещей не привезено, а потому ежели в марте открывать кампанию, то не только не будет здесь сил к предприятию какому-либо знаменитому, но едва их станет на защиту себя и удерживаемого края против стремлений неприятельских. Я говорю с полною дружескою доверенностью, что у меня ни здоровья, ни смысла не стает уж для таких трудных изворотов, в которых не имено вспоможения, но паче ослабляют прилагаемые труды к трудам. Все другие держатся правила, что, желая

твердого мира, надобно быть готовым к войне, а у нас сему противное видим, ибо армия здешняя, вы сами видите, сколько не имеет для себя надобного».

Когда Обрезков дал знать Румянцеву, что переговоры не могут повести к миру и потому главнокомандующий должен быть готов к возобновлению военных действий, то Румянцев отвечал: «Не нетрудно сие исполнить, ибо у нас еще и рекруты не прибыли, и если часть каких запасов для одеяния получена, то в сие только время принимаются обшивать солдат. Доставка сюда всякого снабдения заблаговременно не зависит от меня, но тем располагают другие; итак, отверзтие кампании при исходе зимы придет ни по числу сил, ни по готовности у нас полного снабдения; но живу всегда вопреки русского присловья: *хоть не рад, да готов*, т.е. ко всему рад, хотя готовности и мешают все противоборства». Обращаясь опять к Орлову, к его возражениям против перемирия, Румянцев писал: «Флот наш имеет путь открытый, и не привязывает его к себе никакой остров, вместо того что здесь всякий шаг земли нельзя оставить без предосуждения оружию; следовательно, и защита земель пространных, приобретенных завоеванием, весьма разнится от плавания по водам беспрепятственным. Не могу я скрыть пред вами в рассуждении моей искренней дружбы моих мыслей, до коих меня доводит жестокий упадок телесных сил. Многия лета проводил я, следуя движениям любви к отечеству и усердной склонности к делу военному. Не будучи никогда в счастливом положении, чтоб по собственному желанию избирать себе случай, но что на меня возлагали, то я исполнял без подобных другим жалоб. Теперь болезненные припадки так меня обессиливают, что я едва могу препроводить короткое время, ежели будет зимняя кампания, а в дальнейших уже подвигах я не лыщу себя участием. К понесению военных трудов, во-первых, надобна естественная сила, а я уже лишился оной. Бой ваш политический в самом жарком воспалении имеет средство к своему утолению; но наши схватки всегда кровопролитны, так что раз опрокинутая их тягость редко низложенному даст подняться на ноги и решенному одним сражением не воспротивляются целые веки. Военные битвы и способы к тому явны всей публике, следовательно, суд и обвинение тут неизбежны, а оправданию едва бывает место, но связь и пружины сил ваших и их действия скрывают кабинеты от всякого других прощания».

От 28 февраля Румянцев получил высочайшее повеление — «вынудить у неприятеля силою оружия то, чего доселе не могли переговорами достигнуть, и для того с армиею или частью ее, перешед Дунай, атаковать визиря и главную его армию». Уведомляя об этом Обрезкова, Румянцев писал: «Тебя я, мой дражайший друг, имею, так сказать, по боге свидетелем нашего здесь состояния, а потому и не затрудняю тебя дальнейшими объяснениями, зная, что твое прощание лучше всех видит наши к тому силы и удобство, особливо, когда надлежит сломать прежде крепкие преграды, т.е. разбить силы неприятельские и овладеть городами, стан визирский закрывавшими, и когда на все стороны осматриваться надобно, чтоб не проронить чего-либо к предосуждению безопасности мест, нами оберегаемых, то сколь способно мне к одному месту тронуться; и по дружеству и благосклонности ко мне легко заключать можешь мои тут затруднения. Присовокупить надобно, что и время не сходствует для таковых поисков, когда служба заставляет искать всякого убежища в избе, а, преодолевая суровство времени, себя только преодолеваешь и приводишь в несостояние в удобное время к

действиям».

Румянцев писал точно так же самой императрице о неудобствах перехода через Дунай, переслал ей мнения генералов Салтыкова, Потемкина и Вейсмана о тех же неудобствах; король прусский также советовал не переходить за Дунай — ничто не действовало, Екатерина настаивала на переход. В апреле русские войска начали наступательное движение с выгодой для себя; попытки турок переправиться на левый берег Дуная были неудачны. Русский отряд под начальством полковника Клички переправился за Дунай, разбил несколько раз турок и возвратился назад, как то делывал Вейсман в 1771 году; попытки турок против Журжи и Слободзеи кончились для них очень неудачно. В мае Суворов, переведенный из Польши в Дунайскую армию, начал и здесь блистательно свою деятельность, овладев Туртукаем. Но «случилось дознать и неудачу как следствие жребия военного, не всегда приверженного одной стороне»; по словам Румянцева, эту неудачу потерпел полковник князь Репнин, который сам раненый достался в плен туркам с двумя майорами Дивовыми и несколькими обер-офицерами. «Поверхность, неприятелем в сем разе приобретенная, ничего и наималейше не переменяет в нашем положении, — писал Румянцев, — да и утрата толь малого числа людей ничего бы по себе не значила, ежели бы в ней не было персоны князя Репнина, каковых знатных пленников во всю войну еще не имели турки, и по сему пункту, а наиболее и по персональному моему доброжелательству к их фамилии чувствительно мне прискорбен сей случай. Между тем наши движения идут, чтоб заплатить врагам с лихвою. Г. Вейсман со своим корпусом уже за Дунаем, и я в спешествовании дальнейшим действиям подвигаюсь берегом вверх сей реки».

Вейсман, переправившись за Дунай, не замедлил известить фельдмаршала о победе: 27 мая он напал при Карасу на неприятеля, стоявшего в 12000 пехоты и конницы, и нанес ему поражение; турки потеряли более 1000 человек убитыми; русским достался весь их лагерь с 16 пушками. После этого Румянцев решился переправиться через Дунай у Горабала или Бали-Багаса. Но тут стояло 6000 турок с пушками. фельдмаршал велел Вейсману зайти им в тыл от Карасу и Потемкину высадиться и идти прямо им в лицо. 7 июня оба генерала одновременно с двух сторон подступили к неприятельскому лагерю, и в то же время фельдмаршал с главным войском показался на левом берегу Дуная, ведя наравне со своим движением суда, собранные для переправы. Турки оторопели и при первых выстрелах бросились в бегство; русская конница поскакала за ними и истребила более 300 человек; обоз достался победителям. Очистив назначенное для переправы место, Румянцев в тот же день велел перевозить войска и 11 числа сам перешел Дунай. Разбивши еще раз турок на реке Галице, русские стали лагерем у Силистрии.

Еще прежде, когда Румянцев дал знать в Петербург о намерении своем переправиться через Дунай и о взятии Туртукая, гр. Григорий Орлов говорил в Совете, что по настоящему расположению фельдмаршала он видит, как Румянцев намерен исполнить теперь то, что он, Орлов, предлагал ему в прошлогоднее свидание, а именно переправиться за Дунай между Черным морем и Карасу и утвердить там левое крыло армии; визирь, находясь на другой стороне Карасу, не мог бы отрезать нашего войска по дальности обхода, напротив, сам нашелся бы в опасности быть отрезанным; таким положением мы могли бы отворить

себе путь за горы и, потревожив столицу неприятеля, заставить его согласиться на мир. Узнав о переправе Румянцева, Екатерина 28 июня, в день восшествия своего на престол, написала ему, что так как он сделал этот день для нее радостным, то она пожаловала сына его (Михаила) полковником, и желала божеской помощи во всех впредь за Дунаем предприятиях.

К Вольтеру Екатерина писала: «Вашему любезному Мустафе придется опять быть отлично поколоченным после переговоров, разрыва двух конгрессов и перемирия, продолжавшихся почти целый год. Этот почтенный господин, по моему, вовсе не умеет пользоваться обстоятельствами. Нет сомнения, что вы увидите окончание этой войны. Надеюсь, что переход через Дунай будет способствовать этому двояким образом: он вас обрадует и сделает султана сговорчивее».

Но Румянцев в 1773 году приготовил Екатерине такую горькую нечаянность, какую она испытала от Голицына в 1769 году. Несмотря на несколько удачных схваток с турками, овладение Силистриею оказывалось невозможным по причине сильного гарнизона, простиравшегося до 30000 человек; на предложение сдать его комендант отвечал, что русские не получат ни одного камня и ни одного гвоздя из Силистрии. От Шумлы шел Нуман-паша с целью напасть на русскую армию с тыла в то время, как с другой стороны на нее нападут войска из Силистрии. Навстречу Нуман-паше двинулся Вейсман и встретился с ним 22 июня при Кучук-Кайнарджи. Турки были поражены, потеряли около 5000 убитыми, 25 пушек; но русские заплатили за это очень дорого: знаменитый Вейсман был убит. Несмотря на то что теперь турки не могли прийти на помощь Силистрии, Румянцев 24 июня собрал военный совет, на котором решено перейти назад, на левый берег Дуная: страшно истомленную конницу нельзя было вести вперед, травы не было, лошадей кормили камышом, да и за тем нужно было посылать далеко; дороги трудные, а сражаться не с кем, турок не догнать. Фельдмаршал от 30 июня дал знать о своем обратном переходе на левую сторону Дуная. «Предвидя, — писал Румянцев, — что персональные мои неприятели выводят меня на пробу жестокою, тогда как силы, мне вверенные, приведены в великое ослабление, дерзнул я по чистой совести и долгу всеподданнейшему донести в. и. в-ству о всех трудностях в настоящии переходе за Дунай. Воображения мои тогдашние с испытанием настоящим в том токмо разнствуют, что казавшееся с сей стороны многотрудным далеко больше найдено неудобным. Будучи на той стороне, бывшие со мною там генералы остаются свидетели, сколько я старался до последней черты, не щадя ни трудов, ни жизни, выполнить высочайшую волю в. и. в-ства, имея токмо под именем армии корпус небольшой в 13000 пехоты на все действия с визирскими силами, которые, однако ж, побиты и рассыпаны, — словом не испытано разве только то, чего одолеть не может человечество. Через сей поход многотрудный весьма утомлены люди, а лошади дошли до крайнего изнурения, и я не могу сокрыть пред в. в-ством угнетающих меня теперь трудностей по пункту оборонительного положения, в которое не легко мне попасть с прежнею твердостью, рушившись из оного до самой пяты. Еще я дерзая изъяснить пред Вами дух усердного и верного раба о положении сопротивного дунайского берега по очевидному уже моему дознанию, что если бы продолжать на нем военные действия, то не удвоить, а утроить надобно армию, ибо толикого числа требует твердая нога, которой без того иметь там невозможно в рассуждении широты реки, позади остающейся, и трудных проходов, способствующих отре-

занию со всех сторон, для прикрытия которых надобно поставить особливые корпуса, не связывая тем руки наступательно действующего, который чрез леса и горы себе путь сам должен вновь строить. Поражен давно уже дух мой прискорбностию, что я не удостоиваюсь на письме видеть знаки монаршего благоволения, если только доходят к в. и. в-ству мои всеподданнейшие; сокрушает и то, когда ходатайство мое о многих здесь служащих не служит на их пользу и без того и упадает в подчиненных ревнование, которых и не имею ничем другим ободрить, да и многие мои донесения о недостатках и нужном пополнении не приобретают содеятельности; и чувствую и предвижу, что когда не в усердии, на которое никто неправды положить не может, то находят во мне недостатки в способностях и, делая меня человеком, встречающим во всем трудности, лишают меня доверенности вашей. Сознаю пред в. и. в-ством, что, служа не первую войну, пять лет сряду ощущал я ослабление в себе душевных и телесных сил, а полагая счастье свое в угождении высочайшей воле в. и. в-ства и в благе отечества моего, охотно я такого желаю увидеть на своем здесь месте, кто лучше находит моего способы удовлетворить обоим сим драгоценным предметам».

15 июля в присутствии императрицы читали в Совете официальное донесение Румянцева о возвращении на левый берег Дуная. Впечатление было сильное: говорили, что возвращение фельдмаршала подаст повод к неприятным толкам, возгордит турок и удалит желаемое заключение мира. Высказалось неудовольствие против Румянцева: говорили, что его требования слишком велики, нет средств увеличить Первую армию в таких размерах, как он хочет; зачем он перешел Дунай, не обсудивши сначала всех трудностей; сражения с неприятелем, происходившие по-пустому, расстроили армию по крайней мере на два месяца. Но как ни сердились, помочь делу можно было только удовлетворением, хотя отчасти, требованиям фельдмаршала. Захар Чернышев предлагал, что по настоящему положению польских дел можно послать в Первую армию несколько полков из находившегося в Польше корпуса, что для ободрения фельдмаршала надобно отвечать на его донесение, уведомить его об увеличении его армии. Совет согласился, согласился и на другое предложение Чернышева — взять из Польши Бибикова, оставив там генерал-поручика Романиуса. Екатерина сама прочла вышеприведенное письмо к ней Румянцева и, указав на жалобу фельдмаршала, велела, чтоб по его представлениям немедленно было исполнено.

Письмо Румянцева было очень ловко написано: он извещал о неприятнейшем событии, возбуждал против себя сильное негодование, но, чтобы это негодование не высказалось, в конце находилось внушение, что если есть человек, который способен вести дело лучше, то он готов передать ему начальство над войском; тут не было прямой просьбы об увольнении, а вызов приискать ему подобного или лучшего. Такого приискать, разумеется, не могли; могли уволить Голицына, потому что в виду был Румянцев, но другого кагульского победителя не было. Румянцев не нашел себе соперника, который бы мог заменить его на Дунае, и, как легко было предвидеть, возбужденное им негодование в Совете кончилось решением ободрить его, увеличить его армию, исполнить его требования относительно наград подчиненным. Но Румянцев нашел себе сильную соперницу в борьбе на письмах. Екатерина отвечала ему также очень искусно, с полным достоинством, снисходительно, милостиво, с постоянным выражением совершенного доверия к искусству полководца, надежды, что он поведет дело как нельзя

лучше, и вместе с прочим внушением, что ему не следует предполагать врагов, которые могут вредить ему при ней, с указанием, что и сам он виноват в озлоблении своей армии; наконец, дано понять, что намек фельдмаршала на отставку не испугал ее, что она готова уволить его; но здесь так искусно была отстранена всякая тень неудовольствия, раздражения, что обидеться и действительно подать просьбу об увольнении было нельзя. «Любя истинное благо империи, — писала Екатерина, — и для того желая не менее многих восстановления мира, чистосердечно вам скажу, что известие о возвратном вашем перешествии через Дунай не столь мне приятно было, нежели первая ваша с армиею переправа чрез сию реку, с которою я вас столь искренно поздравляла письмом моим; ибо мною, что возвращение ваше на здешний берег не будет служить к ускорению мира, оставляя, впрочем, без всякого уважения все пустые по всей Европе эхи, коими несколько месяцев сряду уши набиты будут: сии сами собою, конечно, упадут, причиняя нашим ненавистникам пустое некоторое удовольствие, на которое взирать не станем. Что же касается до ваших персональных неприятностей, о коих вы ко мне упоминаете, что они вас выводят на пробу жестокою, тогда как силы, вам вверенные, приведены в сильное ослабление, и для того вы ко мне о всех трудностях перехода через Дунай живое описание делаете, то, входя во все ваши обстоятельства колико возможно подробнее, откровенно вам скажу, во-первых, что я сих ваших неприятелей, на коих вы жалуетесь, не знаю и об них, окромя от вас, не слышала, да и слышать мне об них было нельзя, ибо я слух свой закрываю от всех партикулярных ссор, ушенадувателей не имею, переносчиков не люблю и сплетней складчиков, кои людей вестыми, ими же часто выдуманнами, приводят в несогласие, терпеть не могу; сии же люди обыкновенно иных качеств не имеют к приобретению себе уважения, окромя таковых подлых. Подобным интригам я дороги заграждать обыкла, уничтожа их; людей же, качествами своими и заслугами себя столь же, как и чинами, от других отличивших, как вы, я не привыкла инако судить, как по делам и усердию их; итак, надеюсь, что вы по прошедшему времени, в которое вы толикие имели опыты моего благоволения к вам и многочисленным вашим заслугам ко мне и к государству, будете судить о настоящем и о будущем моем к вам расположении... Признать я должна с вами, что армия ваша не в великом числе, но никогда из памяти моей исчезать не может надпись моего обелиска, по случаю победы при Кагуле на нем исцеканенная, что вы, имев не более 17000 человек в строю, однако славно победили многочисленную толпу. Сожалею весьма, что чрез сей ваш бывший многотрудный весьма за Дунай и обратный поход утомлены сии храбрые люди и что лошади дошли до крайнего изнурения; но надеюсь, что вашим же известным мне об них всегдашним попечением и люди, и лошади паки приходять будут в прежнее их состояние. Что же ваше оборонительное положение рушилось до самого основания и вам не легко будет оное восстановить, сие себе представить могу небесрудным для вас, ибо чрез месяц ваша позиция три разные вида получила; а именно: первая — ваше положение по сю сторону Дуная, потом — наступательная переправа через Дунай и за сим — обратный поход ваш, совокупленный с восстановлением паки оборонительного положения. Все сии, так сказать, переправы, конечно, соединены быть должны с немалыми трудностями и заботами. Но, зная ваше искусство и испытав усердную ревность вашу, не сомневаюсь, что, в каких бы вы ни нашлись затруднениях, с честью из оных выходить уметь будете... Что же